

P2
H 30

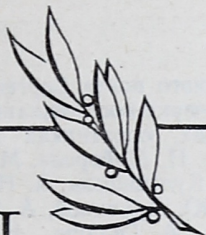
И СЕРГЕЙ
НАРОВЧАТОВ



МЫ
ВХОДИМ
В
ЖИЗНЬ



И СЕРГЕЙ
НАРОВЧАТОВ



МЫ
ВХОДИМ
В
ЖИЗНЬ

КНИГА
МОЛОДОСТИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1978



езд шел в Иваново. Ткачами революции называли ивановских рабочих. Знамя, сотканное их руками, впервые поднялось над городом в дни знаменитой морозовской стачки, стремительно и гневно прошумело в 1905 и навсегда утвердилось в 1917 году. И вот теперь, спустя многие годы, в старом городе пролетарской славы открывалась новая улица. Чье имя она будет носить? Даже не зная его, можно было заранее сказать, что оно будет достойным рабочего города, где жили и действовали Фрунзе и Фурманов.

Но нам, ехавшим на открытие новой улицы, не приходилось домысливать название, которое завтра появится на ее домах. Мы знали его. Это было имя нашего товарища. Четверть века прошло с тех пор, как мы видели в последний раз Николая Майорова. В считанные часы, когда поезд пробежал расстояние между Москвой и Ивановом, мы — черта за чертой — воскрешали его облик и — слово за словом — его речь. И вот он уже без стука отворил дверь купе, присел на полку и вмешался в разговор.

Мы говорили прозой, он — стихами. И это было естественно, ибо иначе и не мог разговаривать поэт его судьбы с друзьями, оставшимися в живых. А судьба его — несколько десятков стихотворений, безымянная могила где-то на Смоленщине и, вот теперь, улица в Иваново.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Печально и свободно вошел он этими строками в наш разговор...

Моим спутником в поездке был Виктор Болховитинов. Он знал Майорова ближе и дольше, я помнил его отрывочнее, избирательнее и, применяя термин живописи, «мазками». Запомнился мне Николай высоким, угловатым, прямым... «Да вовсе он не был высоким,— поправил меня Болховитинов,— сухощавый и угловатый, а росту среднего.— И добавил, помолчав: — Это он в стихах стал высоким».

Так, конечно, это и было. Майоров сам предугадал аберрацию позднего зрения:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах читаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Но во всяком мифе есть зерно исторической истины, и совсем не случайно в моей памяти — да и не только моей! — Николай Майоров остался «высоким». Ведь они и впрямь были высоки, друзья нашей юности, сложившие свои упрямые мальчишеские головы на полях большой войны. Высоки своими помыслами и стремлениями, поступками и подвигами. И эта духовная высота преобразовалась нашей памятью в физическую.

Есть у Майорова и другая строка. В ней уже не угадывание поздней аберрации и не рисунок будущего мифа:

Так я иду, прямой, просторный...

Тот, кто хоть раз видел и слышал Майорова, оценит точность этой самохарактеристики. Он действительно был «просторен», и просторность его была такова, что невольно передавалась соприкасавшимся с ним людям. Отсутствием масштабности никто из нас не страдал — ни Кульчицкий, ни Коган, ни Луконин, ни другие мои сверстники, — и тут дело, видимо, не в размахе дарова-

ний, а в тех событиях, которые надвигались на нас. Мы жили в их предощущении и в тишине предгрозы. Применяли к себе мерки близкой грозы. Но у Майорова была к тому же еще и «просторность». Она являла себя и в его мироощущении, и в емкости поэтического взгляда, и в трагическом жизнелюбии. Я не боюсь соединять эти два последние слова. Их задолго до меня соединило время, в котором жил и погиб Майоров. В просторности своей он объял мысль о возможной необходимости своей смерти в ближайшем будущем. И не убоился этой мысли, что было бы как будто естественно для молодого человека, полного жизненных надежд, а поднял ее на огромную высоту. С той высоты, которую он определил для себя как будущее, поэт увидел себя таким, каким видим мы его сейчас.

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

В стихах Майорова «я» и «мы» взаимозаменяемы. Щедрость своего взгляда, сердца, души он легко передавал рядом идущим и так же легко брал у них близкие ему чувства и мысли. Ощущение единства судьбы своего поколения развито было в нем в высшей степени.

Мысль о возможной необходимости своей смерти, объединенная с чувством бессмертия дела, во имя которого будет принята смерть, ничего общего не имела с жертвенностью. Мысль эта владела не одним Майоровым — в стихах Георгия Суворова, Павла Когана, Михаила Кульчицкого она повторяется с не меньшей настойчивостью. Напрасно стали бы мы искать в их самоэпифаниях надрывную ноту — ее там нет. А ведь эти стихи писались двадцатилетними юношами, почти мальчиками. Нет, какие же они были мальчики, настоящие мужчины — вот кем они были! И стихи писались мужские. Так прямо и спокойно смотреть в глаза своей участи...

Не одним этим объясняется прямота и спокойствие, с которой высказывалась эта суровая и беспощадная мысль. Поэты поколения твердо верили, что события, которые могут оказаться губительными для любого из них, будут развиваться в оптимальном направлении для народа в целом. Будущее мыслилось им победоносным

для советского строя, с которым они срослись каждой своей жилкой. И потому с такой свободной уверенностью обращались они к Будущему, зная, что в нем, как и в настоящем, им жить с людьми родными и близкими, которые смогут оценить их по достоинству.

Но возвратимся к «просторности». Словно луговой ветер врывается в городское окно, когда Николай начал читать свои стихи. Медовые запахи разнотравья наполняли комнату, а вслед им уже другой порыв приносил запах смолы и хвои. За лугом начинался лес. Никто из нас так не ощущал природу, как Майоров. А ведь он тоже был горожанином. Правда, Иваново — не Москва, но все же это большой фабричный город. Видимо, связь с землей, где веками пахали и сеяли его деды и прадеды, ощущалась им как первостепенной важности наследство, от которого мы, заколдованные городскими ритмами, бездумно тогда отказывались. А он помнил землю и в трогательных частностях:

Пахнут руки легкой ромашкой,
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жучки.

Помнил ее и в жестоких огромностях и любил, любил без конца.

Дерзкой была его просторность! Кажется, лишь в двадцать лет можно удивленно констатировать в жаркий августовский полдень:

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?

Заметьте, что здесь вопросительный, а не восклицательный знак, это не похвальба, а внезапно пришедшее ощущение. Вселенная ему мала...

Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух литкружков — университетского и гослитиздатского. Николай представлял МГУ и, употребляя старую футбольную терминологию, был как бы центр-форвардом своего коллектива. Мы — П. Коган, А. Яшин, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий и я — знали о Майорове понаслышке, отдельные строки были нам знакомы, но общего впечатления еще не было. И мы с ревнивой настроенностью встретили его появление: мол, бахвалятся мгувцы или впрямь заполучили хорошего поэта?

И вот на середину комнаты вышел угловатый паренек, обвел нас деловито-сумрачным взглядом и как гвоздями вколотил в тишину три слова: «Что — значит — любить». А там на нас обрушился такой безостановочный императив — и грамматический, и душевный, — что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть не растерялись.

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее — такую!

«Такую» — он как-то озлобленно и в то же время торжественно подчеркнул.

Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.

«А ведь хорошо!» — уронил сдержанный на похвалу Яшин. Майоров глазом не моргнул на первую реплику, пробывавшую окружающую его настороженность. Стихи неслись дальше:

Забыть последние потери.
Вокзальный свет.
Ее «прости».
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести;
Войти; как новых драм зачатые,
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.

Две эти последние строки меня покорили. Так это было жизненно, черт побери, так похоже на то, что и со мной происходило... «Здорово!» — рявкнул я. Майоров только покосился в мою сторону и продолжал обрушивать новые строки. И когда, наконец, дойдя до кульминации страсти, вдруг на спокойном выдохе прочитал концовку:

Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество мое!

Мы облегченно и обрадованно зашумели, признав сразу и безоговорочно в новом нашем товарище настоящего поэта.

Майоров читал в тот вечер еще «Отелло» и «В вагоне». Когда в «Отелло» он прочел:

Ей не понять Шекспира и меня! —

мы заулыбались, но уже влюбленно заулыбались — он стал нам близок, этот ивановский мавр. Мне запомнилось, как он произносил «женщина». Вместо «щ» у него выходило «ч».

Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с нами.

«Лихо! — покачал головой Павел Коган: — Лихо, ничего не скажешь...»

Майоров, казалось, был очень типичен для молодежи предвоенной формации. Сама внешность его как будто несла черты этой типичности. Он чем-то неуловимо напоминал героя «Юности Максима», только без той лукавинки в глазах и углах рта, с которой тот глядел на нас с экрана. Безотчетное доверие вызывают у меня такие лица. Вася Папков, мой отделенный командир, спасший мне жизнь во время финской кампании, тоже был сходной внешности. Конечно, и Майоров, и Папков годились бы тому Максиму в сыновья, но они, надо сказать, и ощущали себя внутренне сыновьями сотен Максимов большевистского подполья и гражданской войны. Так что сходство здесь намечалось не только по внешним признакам.

Типичен как будто был он в одежде и манере держаться. Чиненые башмаки, дешевый костюм, распахнутая рубашка. Галстуки мы носить не любили, надевали их по особо торжественным случаям: «быть при галстукке» каждый день считалось чистоплюйством. «Пижоны» — предки будущих «стиляг» — были не в чести не только среди ребят, но и у девушек. К одежде относились не то что пренебрежительно, а равнодушно. Даже с полным равнодушием. Неряхами не ходили, а дальше этого забота о внешности не простиралась.

Жизненные удобства не отвергались, но никак не переоценивались. Но и то сказать, избытка в них тогда не ощущалось. Судя по стихам Майорова, он, кажется, ни

разу не ездил в плацкартном вагоне. Я обнаружил это с улыбкой, прочитав подряд все стихотворения, где Николай пишет о поездах и странствиях.

Отец и мать у Николая — ивановские рабочие, брат — военный летчик. Семья была типичной и в то же время образцовой по нашим тогдашним понятиям. Да и не только по тогдашним. Сам он пролетарского своего происхождения никогда не подчеркивал и уж совсем не кичился им. В этом чувствовалось некое внутреннее целомудрие. Если человек ощущает свою кровную и неоспоримую принадлежность к чему-либо, ему не приходит в голову кричать об этом на перекрестке первым встречным. Такой человек заявляет об этом самым своим поведением, обусловленным лучшими качествами той среды, в которой он формировался. Лучшими, а не заурядными и тем более не худшими. И в майоровской прямоте, решительности, бескомпромиссности все время ощущался рабочий стержень.

Но, никогда не афишируя своей «рабочести», Николай знал её цену и гордился своей доброй родословной. Тогда, как и после, писалось много стихов — плохих и хороших, а иногда и превосходных — о крестьянском и интеллигентском детстве. Но среди моих сверстников едва ли не один Майоров написал стихи о пролетарском детстве. Они были созданы по рассказам старших. Николай говорил мне, что если бы его отец умел сочинять стихи, то написал, верно, нечто похожее. Память о революционном прошлом тогда была еще жива. Мы родились вскоре после Октября, и для наших отцов первая мировая война была по времени ближе, чем для меня теперь вторая мировая. И Николай, жадно впитывая разговоры ивановских рабочих о сравнительно недавних временах, мог полностью слиться с тем рабочим мальчишкой, каким бы был сам, родись он лет на десять раньше.

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.

Был стол в далекий угол сдвинут.
 Жандарм из печки выгребал золу.
 Солдат худые сгорбленные спины
 Свет заслонили разом. На полу —
 Ничком отец. На выцветшей иконе
 Какой-то бог нахмурил важно бровь.
 Отец привстал, держась за подоконник,
 И выплюнул багровый зуб в ладони,
 И в тех ладонях застеклилась кровь.
 Так начиналось детство...
 Падая, рыдая,
 Как птица, билась мать.
 И, наконец,
 Запомнилось, как тают, пропадают
 В дверях жандарм, солдаты и отец.

 Мне стал понятен смысл отцовских вех.
 Отцы мои! Я следовал за вами
 С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
 Глаза мои не обожгло слезами,
 Глаза мои обращены на всех.

Ощущение преемственности поколений приобретало у Майорова зримые и осязаемые формы. Сам себя он видел как бы соединительным звеном между революционным прошлым и коммунистическим будущим. Причем прошлое и будущее не абстрагировались им. Он перевоплощался в своих предшественников (как в только что цитированных стихах) и глядел глазами преемников (как в стихотворении «Мы») на своих сверстников.

Круг его общественно-художественных привязанностей был очерчен строго и четко. Кто был адресатами стихов Николая, кроме друзей, любимых, поколения? Всего несколько имен: Пушкин, Гоголь, Рембрандт, Горький, Чкалов... Посвящениями он не разбрасывался. Отбор имен был выверен, и краткость списка шла не от бедности, а от строгой щедрости взгляда. Майоров учился на историческом факультете, каждый день приносил ему десятки громких названий, имен и дат. Дня не хватало, и ночами он глотал книги — все русские и западные классики были перечитаны по второму и третьему разу. Но влюбленностей и любовью наперечет — это равно может относиться и к прожитому, и к прочитанному. И вот три писательских имени и одно художественное: Пушкин, Гоголь, Горький, Рембрандт.

О Чкалове разговор отдельный. Он был романтической и героической любовью нашего поколения. Все им-

понировало в нем — размах и удаля, богатырская внешность и богатырские дела. Уверенность в исходе будущих битв в значительной степени покоилась на сознании, что у штурвалов боевых машин будут находиться люди, подобные Чкалову. Для нас он был примерно тем же, чем стал для новых поколений Гагарин. Я не соизмеряю их деяний: первый выход человека в космос — явление всемирно-историческое. Но как Чкалов невозможен был без Нестеровых и Громовых, так Гагарин немислим без Чкалова. И стихи моего сверстника о всенародном любимце, каким был Чкалов в 30-х годах, были естественны и закономерны в кругу нравственных представлений поколения.

А над всеми этими большими и славными именами стояло и светило одно великое имя. Николай Майоров посвятил Ленину стихи, где были такие строки:

...И бредила — в мечтах носила,
Быть может, им и только им
В тысячелетиях Россия.
И он пришел...

Ленин пришел в жизнь сыновей России, каким был мой сверстник, с самого их рождения и оставался с ними вплоть до их смерти за дело коммунизма. Очень короткой оказалась их земная жизнь. Сколько они не успели увидеть, узнать, испытать... И ведь возможности тогда для молодежи были куда меньшие, чем теперь. Страна была беднее и неустроенней: все, что выходило за пределы неотложных нужд, считалось чуть ли не роскошью. Туризм в «чистом виде» почти не мыслился — он мог быть принятым за праздншатание. Военизированный переход с состязанием на выносливость и быстроту — иное дело; поездка по горьковским местам по Волге до Крыма на лодке и пешком — допустимая возможность. А ездить и глазеть просто так — это уж, извините, безделье.

У Майорова есть малоприметное стихотворение «Одесская лестница». Оно написано как бы на полях больших и серьезных раздумий о жизни и смерти, которыми он запомнился читателю. Обычно на «Одесскую лестницу» пристального внимания не обращают. Меня же эти стихи волнуют до сердечной щемн. В них Коля перечисляет те места и края, где он не бывал и где ему

так хотелось побывать. Нет, не про Аргентину и Новую Зеландию он пишет... Для теперешней молодежи его мечты покажутся настолько наивны, насколько они сейчас достижимы. Сочи — тоже, подумаешь, фантом!.. А для Майорова Сочи были почти что фантазией...

Есть дивные пейзажи и моря,
Цветут каштаны, выросли лимоны.
А между нами, впрочем, говоря,
Я не глотал еще воды соленой.
Не видел пляжа в Сочи, не лежал
На пестрой гальке в летнюю погоду,
Еще ни разу я не провожал
В далекий рейс морского парохода.

И дальше, оказывается, он «не восходил к вершине с ледорубом», «не посмотрел ни разу, как цветут и зно-ем наливаются черешни», «Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа» и — как завершение неудовлетворенной тоски о всех невиданностях:

Еще одесской лестницей ни разу
Я к морю с чемоданом не сошел.

Одесскую лестницу Николай, как все мы, запомнил по фильму «Броненосец Потемкин» и включил ее в свои «семь чудес света», которые ему непременно хотелось увидеть.

Все слова были взвешены в его теперь уже всеизвестной самоэпитафии «Мы», и строки о «людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы», щемяще расшифровываются в «Одесской лестнице» и в других майоровских стихах. Папироса была его только прикурена от огня времени, и голубой дымок юношеской романтики свился лишь в первые кольца, как тут же был развеян жестокими ветрами войны.

«Не долюбив...» Да, не долюбив женщину, поэзию, жизнь.

Я не узнаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

И впрямь, свою единственную на всю жизнь женщину ни Майоров, ни другие сверстники его судьбы так и «не посмели» поцеловать перед уходом на войну и в вечность. А человеком он был пылким и страстным, вспомните хотя бы «швырнуть пальто на выключатель, забыв, где вешалка висит», и любил, радуясь и мучаясь, «то робостью, то ревностью томим», по выражению великого поэта. Теперешние девушки могут позавидовать женщинам, в которых влюблялись такие люди, как Николай Майоров. Мало того, что в свои двадцать лет эти люди были не подростками, а взрослыми мужчинами, но их любовь была страстью, всепоглощающей и неоглядной. И женщины, если не сразу, то после, всегда сумеют оценить такое чувство и сберечь его в благодарной памяти.

Так и с поэзией. Как и женщине, Майоров отдавал ей себя без остатка. Но поэзия для него значила тогда больше, чем женщина. Он верил, что ее силе подвластно все: люди и стихии, само мироздание. И если древний поэт заставил своим пением стронуться с места недвижимые камни, то женскую душу поэзия тронет и подавно. В стихотворении «Рождение искусства» он соединил оба высокие адресата. В нем сила поэзии выше женской, но являет себя во имя и ради нее. В этих стихах первый художник

...впроголодь живя, кореньями питаюсь,
Он различит однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября,
Что даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слезы о прекрасном говоря.

С компетентностью, данной мне тридцатилетним опытом работы в поэзии, скажу, что это не просто хорошие, а превосходные стихи. Ключевые строки: «Так, раз всту-

пив в соперничество с небом, он навсегда к нему возревновал» и последние, замыкающиеся аккордом «сквозь слезы о прекрасном говоря», сделали бы честь любому большому поэту.

Надо подчеркнуть, что Майоров и ощущал себя большим поэтом. И страшился он не смерти, а того, что она не даст развернуться ему как поэту в полную силу. Такое же предощущение, горькое и сильное, было у многих из нас. И к великому несчастью для литературы оно подтвердилось как раз для самых талантливых из поколения их ранней гибелью.

В статьях и воспоминаниях о Майорове, Кульчицком, Суворове, Когане иногда упускается из виду одно серьезное обстоятельство. О них пишут как о чистых и смелых юношах, погибших на войне и сочинявших стихи, интересные в качестве человеческих документов. Меньше обращается внимания на то, что стихи эти были не только лирическим дневником, запечатлевшим высокие чувства патриотизма и партийности, но и серьезным и новым явлением поэзии. В коллективных сборниках, в том числе и составлявшейся мной книге «Имена на поверке», действительно представлено много стихов поистине золотых ребят, храбро сложивших свои головы в бою, но для которых поэтический способ выражения чувств и мыслей не был обязательным языком. Их стихотворные строки и впрямь сохраняют ценность преимущественно человеческого документа.

Совсем иное дело стихи Николая Майорова и еще нескольких поэтов. Лучшие из них несут печать не только яркой талантливости, но и раннего профессионализма. Не бойтесь этого слова, оно не исключает ни порывистости, ни непосредственности, ни вдохновения. Не исключает оно и неизбежных срывов, недоделок, промахов. Обманчивое впечатление неровности и пестроты стихов Майорова и тех же Суворова, Кульчицкого, Когана создается тем, что обычно публикуются вместе стихи, написанные поэтами в четырнадцать, в восемнадцать, в двадцать лет... У зрелого поэта разница в два, три, пять лет подчас незаметна. Смеляков или Мартынов 1970 года так же четок и своеобразен, как Смеляков и Мартынов 1965 года. Но Павел Коган 1934 года — это еще мальчик, а в 1941 году он взрослый человек. Знаменитая «Бригантина» написана почти подростком, а восприни-

мается она читателем в одном ряду с такими взрослыми стихами, как «Ракета», «Есть в наших днях такая точность», «Гроза».

То же самое с Майоровым. Разный уровень и пестрота стихов — от их временной ступенчатости. Строки, датированные 1936—1938 годами, — это же строки шестнадцатилетнего паренька. И просто чудо, когда рядом со слабеньким стихотворением «На трамвайной остановке» возникают вдруг зрелые «Торжество жизни», «На родине», «Весеннее». Это чудо таланта, и оно вступает в силу, чем дальше, тем полнее соединяясь с крепнущим мастерством. Такие стихи, как «Мы», «Рождение искусства», «Что значит любить», «Нам не дано спокойно сгнить в могиле», «О нашем времени расскажут» — уже стихи молодого мастера, хрестоматийные произведения, без которых не станет полной любая антология советской поэзии XX века.

Кстати говоря, IV том хрестоматийного издания «Русские поэты», выпущенного «Детской литературой», составлялся В. О. Перцовым и мной. Этот том включил стихи поэтов, вошедших в литературу еще в предвоенное время. Когда будет издаваться V том, а он должен обязательно восполнить оставшийся пробел, в него войдут стихи поэтов фронтового поколения и среди них почетное место займут майоровские строки.

Майоров готовился стать поэтом-профессионалом и бесспорно стал бы им, как стали бы мастерами поэзии Георгий Суворов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. Он возвращал в себе художника-реалиста, проверяющего истину сомнением, находящегося в непрерывном поиске.

Одно художник в сердце носит
На глаз проверенным мазком
Пейзаж плашмя на землю бросить
И так оставить. А потом
Все взвесить, высчитать, измерить,
Насытиться ошибкой всласть,
Почти узнав, почти поверив,
К концу опять в безверье впасть.
И так все дни.

И с риском равным
Быть узанным, взглянуть в окно.
Весь мир

принять вдруг за подрамник,
В котором люди — полотно.

И дать такую волю кисти,
Так передать следы земли,
Чтоб в полотне живые листья
Шумели, падали, цвели.

Как подлинный писатель, он уже любил свое рабочее место, свой «стол, заваленный стихами», и относился к нему как к живому существу. Это был бедный студенческий стол, который был «пятнами изрыт, как щеки мальчугана рябью». На столе Николай не только писал, но и спал, прижимаясь мальчишечьей скулой к рябой щеке деревянного товарища. И стол платил ему добром за добро, лаской за ласку:

Проходят дни, и все короче,
Все явственней и глуше мне
Поет мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.

Многое напел ему стол...

Нет, поэзия не была мачехой для Майорова и его сверстников — поэтов. Она была доброй, хотя и строгой матерью и как бы ждала: вот дети окончательно вырастут, окрепнут, тогда и выпущу их в свет. И они не торопились печататься, довольствуясь признанием друзей и учителей. Стихи Майорова высоко ценили Сельвинский, Луговской, Антокольский, их одобрение он принимал со спокойной гордостью. Виктор Болховитинов, старший его сверстник, работавший тогда в университетской многотиражке, пользовался каждой возможностью публиковать его стихи, но многотиражка остается многотиражкой. Газеты, журналы, сборники — все это пришло много позже того, как на Смоленщине вырос безымянный холмик. И если они — Майоров и его сверстники — ушли из жизни «не долюбив» поэзию, а плоды этой будущей любви могли бы быть щедрыми и прекрасными, то поэзия не забыла о своих детях, наградив их посмертно скромной и строгой славой. Не долюбили они и жизнь — слишком мало узнав ее радостей, мало «испрожив-испровадав», по народному выражению.

Но страну свою они долюбили до конца. В этом они расписались уже не стихами, а кровью, хлынувшей из смертельных ран под Нарвой и Новороссийском, в Сталинграде и на Смоленщине. И Родина отдала им ответной любовью. Одним из знаков этой любви было то

событие, которое ожидало нас с Болховитиновым на другой день.

И завтрашний день наступил. Были цветы и речи, и на доме, в котором жил наш сверстник, появилась дощечка с надписью: «Улица Николая Майорова». Да, казалось, совсем типичный для нашего поколения человек, но это была типичность обобщающего образа. Когда будущие великие романисты станут рисовать Павлов Власовых и Павлов Корчагиных нашего поколения, немало черт им подарит и наш Николай Майоров. Соединенные с другими лучшими чертами его сверстников и друзей, отдавших жизнь во имя Родины, они создадут впечатляющий образ человека большой и прекрасной судьбы.

О нашем времени расскажут,
Когда пройдем, на нас укажут
И скажут сыну: — Будь прямей!
Возьми шинель —

покроешь плечи,

Когда мороз невмоготу.
А тем — прости: им было нечем
Покрыть бессмертья наготу.

Священная нагота бессмертья!..

